

Ничего из этого я, конечно же, не помню. Отождествить себя самого с младенцем на сделанной родителями фотографии, просто невозможно, — то есть это до такой степени трудно, что как-то даже язык не поворачивается сказать «я» про маленькое существо, лежащее, допустим, на пеленальном столике, с неожиданно красным, сморщенным личиком и растопыренными ручками и ножками, заходящееся в крике, причин которого никто уже не вспомнит, или, например, на меховом коврикe, в белой пижамке, тоже красное, с большими черными, чуть косящими глазами? Неужели это создание и есть тот, кто все это пишет теперь в Мальмё? И неужели вот это создание то же самое существо, что и тот сорокалетний мужчина, который сейчас, хмурым сентябрьским днем сидя за письменным столом в Мальмё, под звуки уличного шума и завывание ветра в старых вентиляционных трубах пишет эти слова, а еще сорок лет спустя он же будет горбатым трясущимся старикашкой, доживающим век в каком-нибудь доме престарелых посреди шведских лесов? Не говоря уже про мертвое тело, которое когда-нибудь положат на

стол в морге? Про него также будут говорить «Карл Уве». Ну, разве это не поразительно, что одно и то же простое имя охватывает их всех — и зародыш во чреве матери, и младенца на пеленальном столике, и сорокалетнего мужчину за компьютером, и старика в кресле, и труп на столе в морге? Разве не правильной было бы называть их разными именами, коль скоро их личность и самовосприятие до такой степени различаются? Зародыш, например, назвать Йенсом Уве, младенца — Нилсом Уве, мальчика от пяти до десяти лет — Пером Уве, с десяти до двенадцати — Гейром Уве, подростка тринадцати — семнадцати лет — Куртом Уве, парня семнадцати — двадцати трех лет — Юном Уве, с двадцати трех до тридцати — Туром Уве, тридцати-сорокалетнего мужчину — Карлом Уве и т. д. и т. д.? Тогда первая часть имени уточняла бы принадлежность к определенной возрастной ступени, вторая напоминала бы, что речь идет об одной и той же личности, а фамилия указывала на семейное происхождение.

Нет, о том времени я ничегошеньки не помню, даже не знаю, в каком доме мы жили, хотя папа однажды мне его показал. Все, что мне известно об этом времени, я знаю по рассказам родителей и фотографиям. В ту зиму снегу навалило несколько метров, как это бывает в Сёрланне, и дорога к нашему дому превратилась в узкое ущелье. Вот Ингве катит коляску, в которой я лежу, на ногах у него коротенькие лыжи и он улыбается, глядя на фотографа. Вот он стоит в комнате и показывает на меня пальцем, или я стою один, держась за перильца кровати. Я называл его Эйя, это было мое первое слово. Один только он, как мне потом рассказывали, и понимал, что я говорю, и переводил мои слова маме и папе. Я знаю также, что Ингве звонил в соседние дома и спрашивал, есть ли там дети, — эту историю любила рассказывать бабушка. «А тут есть дети?» — говорила она детским голоском и принималась смеяться. Еще я знаю про то, что как-то упал с лестницы, у меня случилось что-то вроде шока, я перестал дышать, весь посинел, начались судороги, так что мама, схватив меня в охапку, бросилась к соседям, у которых был телефон. Она подумала, что это эпилепсия, но, к счастью, она ошиблась, все обошлось. Еще я знаю, что папе нравилось работать в школе, он

был хорошим учителем и как-то ходил со своим классом в горы. У нас остались фотографии той экскурсии, папа на них молодой и веселый, в окружении подростков, одетых в «мягком» стиле, таком характерном для начала семидесятых. Вязаные свитера, широкие штаны, резиновые сапоги. Волосы у всех были длинные, но без начеса, как в шестидесятые годы, а мягко ниспадающие на плечи, обрамляя нежные отроческие лица. Мама как-то сказала, что в то время отец, видимо, был счастливее всего. Есть еще фотографии, на которых сняты я, Ингве и бабушка. Две — где мы с Ингве стоим на берегу замерзшего озера, оба в свободных свитерах, связанных бабушкой, мой — горчичного цвета с коричневым рисунком; и две — сделанные у бабушки с дедушкой на веранде, на одной она прижалась ко мне щека к щеке, на дворе осень, небо синее, солнце стоит низко, мы с ней глядим вдаль на Кристиансанн, — на этом снимке мне года два-три.

Казалось бы, эти фотографии — тоже своего рода воспоминания, только отделенные от того «я», которое обычно выступает их носителем; и тут невольно возникает вопрос, в чем же тогда их смысл. Я повидал несметное число таких семейных фотографий у моих друзей и возлюбленных, относящиеся к тому же времени, и все они схожи до неразличимости. Те же цвета, та же одежда, те же комнаты, те же занятия. Но с этими снимками у меня ничего не связано, они как бы лишены смысла, и еще отчетливее это ощущаешь, разглядывая фотографии предшествующих поколений: перед тобой только собрание людей, странно одетых и занятых, на мой взгляд, непонятно чем. На снимках мы запечатлеваем время, а не живущих в нем: их поймать не удастся. В том числе и людей из моего ближайшего окружения. Что за женщина позирует фотографу у плиты в квартире на Тересегате — голубое платье и модная в шестидесятые поза: коленки вместе, ступни врозь? Эта, с начесом? С голубыми глазами и робкой улыбкой — такой робкой, что и не поймешь, улыбается она или нет? Сжимающая ручку блестящего кофейника-термоса с красной крышкой? Да, это мама, моя мама, она самая, но кто она? О чем она тут думает? Какой видит ту жизнь, которой она жила, и ту, которая ждала ее впереди? Это знает только

она сама, а фотография ничего об этом не скажет. Незнакомая женщина в незнакомой кухне — и только. А тот мужчина, который десять лет спустя сидит на горе и пьет кофе из той самой красной крышки, поскольку кружки забыл дома, кто он? Мужчина с ухоженной черной бородой и густыми темными волосами, с нервными губами и веселым взглядом? Ну да, это мой отец, кто же еще. Но кем он был сам для себя в тот момент и во все остальные моменты, теперь уже никто не знает. И так же обстоит дело со всеми фотографиями, включая и мои собственные. Они совершенно пусты, единственный смысл, который в них читается, — это тот, что вложен в них временем. Однако эти снимки — часть меня самого и моего самого сокровенного, как для других людей — их фотографии. Переизбыток смыслов — бессмысленная пустота, переизбыток смыслов — пустая бессмысленность: набегающая и отступающая, эти волны несут с собой ту энергию, которая определяет основу нашей жизни. Все, что я помню из первых шести лет своей жизни, все картинки и предметы, я тщательно берегу — они представляют важную часть моей личности, наполняя содержанием зияющие пустоты этого, в основном беспмятного пространства. Из подобных клочков и обрывков я выстроил образы Карла Уве, и Ингве, мамы и папы, образ дома в Хове и дома в Тюбаккене, образы бабушек и дедушек с папиной и маминой стороны, соседей и кучи детей.

Эти шаткие постройку, напоминающие убогие трущобные хижины, составляют то, что я называю моим детством.

Человеческая память — штука ненадежная. И не только по той простой причине, что для памяти соответствие истине — не главная забота. Верно или неверно она воспроизводит события, зависит вовсе не от стремления к правде. Память корыстна. Она прагматична, коварна и лукава, но не по враждебности или злему умыслу; напротив, она стремится угодить своему обладателю. Какие-то вещи она задвигает подальше, чтобы они канули в бездну забвения, что-то переиначивает до неузнаваемости, что-то тактично подает как недоразумение, а что-то, совсем мелкое и ничтожное, удерживает со всей ясностью и отчетливостью. Но что именно ты запомнишь правильно, решать не тебе.

У меня воспоминания о первых шести годах отсутствуют почти полностью. Я не помню почти ничего. Не имею ни малейшего представления о том, кто меня нянчил, что я делал, с кем играл, — все это точно корова языком слизнула. Период моей жизни с 1968 по 1974 год — это сплошь темный провал. Те мелочи, что сохранились у меня в памяти, не представляют особенного интереса. Вот я стою на деревянном мостике среди какого-то, вроде бы горного, редколесья, подо мной бурлит большой ручей, вода в нем зеленая с белым, я прыгаю, подсакивая вверх-вниз, мостик качается, и я хохочу. Рядом со мной — Гейр Престбакму, сын наших соседей, он тоже скачет и тоже хохочет. Я еду в машине на заднем сиденье, мы останавливаемся перед светофором, папа оборачивается и говорит, что это Мьёндален. Мне сказали, что мы ехали на матч «Старта», но ни дорога туда, ни матч, ни обратный путь мне совершенно не запомнились. Я поднимаюсь по дороге к дому, толкая перед собой большой пластмассовый грузовик, он желтый с зеленым и вызывает у меня ощущение богатства, достатка и счастья.

Вот и все. Все первые шесть лет моей жизни.

Но это — канонизированные воспоминания, закрепленные еще в шести-восьмилетнем возрасте, магия детства: самое первое из того, что я помню! Однако, кроме них, есть и воспоминания другого рода. Не отлитые раз и навсегда в определенную форму, их нельзя вызвать по желанию, время от времени они как бы сами всплывают в сознании и качаются там наподобие прозрачной медузы, пробужденные каким-нибудь запахом, вкусовым ощущением, звуком... Они всегда сопровождаются мгновенным и острым чувством счастья. Еще бывают воспоминания, связанные с телодвижениями, когда ты делаешь что-то, что однажды уже делал, например, заслоняешься ладонью от солнца, ловишь летящий в воздухе мяч, бежишь со своими детьми по полю, ведя за собой на бечевке воздушного змея. Есть воспоминания, вызываемые тем или иным чувством: внезапной злостью, внезапными слезами, внезапным испугом, и тут ты вдруг превращаешься в себя прежнего, в мгновение ока переброшенный сквозь года в далекое прошлое. И еще, наконец, есть

воспоминания, привязанные к местности. Ведь местность в детстве — это совсем не то, что местность в позднейшие годы, она заключает в себе гораздо больший эмоциональный заряд. В детстве в окружающей местности все — каждый камень, каждое дерево — исполнено значения, потому что ты видишь их впервые; а коль скоро ты видел их много раз, они глубоко отложились в твоём сознании: не смутно и приблизительно, как, закрыв глаза, представляет себе местность вокруг своего дома взрослый, а невероятно точно и подробно. Достаточно мысленно открыть дверь, как тут же на тебя потоком накатывают картины. Гравий на дорожке перед домом, в летнее время почти что синий. Хотя бы это — подъездные дорожки моего детства! И машины семидесятых годов, которые на них стояли! «Мыльницы», «жуки», «таунусы», «гранады», «асконы», «кадеты», «консулы», «лады», «амазоны»... Ладно, будет! Пройти до конца песчаной дорожки, потом вдоль коричневого забора, а там и овражек между нашей улицей, кольцевой Нордосен-Рингвей, и Эльгстиен, протянувшейся через весь район и еще два поселка, кроме нашего! Внизу напротив уже лес. Надо только сбежать с откоса, покрытого черной, жирной землей. Как же из нее почти сразу потянулись тоненькие, зеленые стебельки: ломкие и такие одинокие на свежевзрытой поверхности, а уже через год разрослись так, что покрыли весь откос. Маленькие деревца, трава, наперстянка, одуванчики, папоротники и кустарник полностью стерли недавно еще такую отчетливую границу между дорогой и лесом. Дальше вверх по тротуару с узким кирпичным бордюром, и — ах! — вода; как она струилась, пленкой затягивая дорогу после дождя. Тропинка направо — кратчайший путь к новому супермаркету — «Б-Макс». Сбоку от нее болотце, по размеру не больше двух парковочных мест, и жадно наклонившиеся к воде березы. Дом Ольсена на бугре, а за бугром — дорога. Гревлингсвейен — Барсучья улица. В первом доме по левую руку жили Юнн и его сестра Труде. Их дом стоял посреди пустыря на каменной осыпи. Мимо него я ходил с опаской. Во-первых, потому что Юнн мог лежать в засаде и бросаться камнями или снежками во всех ребят, которые проходили мимо; во-вторых, у них

была немецкая овчарка... Даже вспомнить страшно... Какая же злобная тварь была эта псина! Ее держали на привязи на веранде или на дорожке перед домом, оттуда она облаивала всех, кто проходил мимо. Она носилась взад и вперед, сколько позволяла цепь, и то визжала, то подвывала. Тошная, с желтыми, сумасшедшими глазами. Один раз, когда я проходил по склону, она, вырвавшись у Труде, бросилась ко мне, волоча за собой поводок. Я где-то слышал, что от зверя нельзя убегать, когда он гонится за тобой. Например, от медведя в лесу. Надо, наоборот, замереть на месте, я так и поступил. Едва увидев, что собака бежит на меня, я замер. Но это не помогло. Ей было все равно, что я стою на месте, она разинула пасть и цапнула меня повыше запястья. В следующий миг подоспела Труде, схватила поводок и дернула изо всей силы, так что собака отлетела назад. Я в слезах пошел дальше. Все в этой зверюге пугало меня. Ее лай, желтые глаза, слюнявая пасть, острые клыки, отпечаток которых остался на моей руке. Дома я ничего не сказал, опасаясь, что мне же и попадет, для чего имелось основания: мол, будешь знать, как соваться куда не надо, либо — перестань реветь, подумаешь, какая-то собака, что в ней такого страшного? С тех пор меня каждый раз при виде этой собаки охватывал дикий страх. А хуже этого нет ничего: я знал не только что от животных нельзя убегать, но и другое — что собаки чуют твой страх. Уже не помню, от кого я это услышал, но так говорили многие, и все это знали: собака чует, когда ты ее боишься, и тогда она сама или пугается, или становится агрессивной и переходит в нападение. А если ты не боишься, она ведет себя смирно.

Сколько же я над этим тогда размышлял! Каким образом собака может *учуять* страх? Чем пахнет страх? И можно ли так притвориться, что ты не боишься, чтобы собака почуяла притворное чувство и не заметила того, что прячется за ним, что ты испытываешь *на самом деле*?

У Канестрёма, жившего через два дома от нас выше по склону, тоже была собака. Золотистый ретривер, звали его Алекс, и он был смирный как овечка. Он всюду бегал за господином Канестрёмом, куда бы тот ни шел, и за всеми его четырьмя детьми.

Добрые глаза и ласковые, словно бы доброжелательные движения. Но даже этой собаки я боялся. Потому что стоило только подойти к дому, чтобы позвонить в дверь, Алекс сразу принимался лаять. Не подавал голос осторожным, дружелюбным или вопросительным потягиванием, а заливался громким, басовитым и раскатистым лаем. Я останавливался.

— Привет, Алекс, — обращался я к собаке, если рядом никого не было. — Ты не думай, я тебя не боюсь. Это не страх.

Если кто-нибудь был поблизости, оставалось подойти как ни в чем не бывало, делая вид, что не обращаешь внимания на лай, и, очутившись перед разинутой пастью собаки, наклониться и погладить ее по спине, хотя сердце отчаянно колотилось, а все мускулы делались от страха ватными.

— Замолчи, Алекс! — говорил тогда Даг Лотар, выбегающая навстречу по дорожке из подвала или распахнув парадную дверь. — Напугал Карла Уве своим гавканьем, глупый ты пес!

— И ничего не напугал, — говорил я на это.

Даг Лотар только смотрел на меня с натянутой улыбкой, означавшей, что я зря старался.

И мы шли гулять.

Куда?

Вниз к Убекилену, к заливу.

К плавучим причалам.

Наверх к мосту.

Вниз к Гамле-Тюбаккену.

К фабрике пластмассовых лодок.

На гору.

К озеру Хьенна.

К «Б-Максу».

Вниз, к заправке «Фина».

А то просто бегали по своей улице, или болтались где-нибудь возле дома, или садились на край тротуара, или лазили на ничейную черешню.

Вот и все. Вот и весь наш мир.

Но ведь целый мир!



Поселки-новостройки не имеют корней в прошлом, нет у них и ветвей, протянутых к небесам грядущего, какие были когда-то у городов-спутников. Они появились в качестве прагматического ответа на практический запрос: где жить тем, кто сюда приедет, ну да, в этот лес, — так что нарежем участки и выставим на продажу. Единственный дом, который там уже стоял, принадлежал семейству по фамилии Бек. Глава семьи приехал из Дании и своими руками построил дом посреди леса. У них не было ни автомобиля, ни стиральной машины, ни телевизора. Не было ни сада, ни огорода, только пустой двор с утоптанной землей, окруженный деревьями. Поленица дров под брезентом да зимой перевернутая вверх днищем лодка. Обе дочери, Инга Лиль и Лиза, учились в школе и были нам с Ингве няньками в первые годы после нашего переезда. Их брата звали Юнн, он был на два года старше меня, ходил в странной домодельной одежде, совершенно не интересовался тем, что интересовало нас, и занимался такими вещами, в которых мы ничего не смыслили. В двенадцать лет он сам построил себе лодку. Не в пример нашим плотам, которые мы пытались мастерить, мечтавая отправиться на них в большое плавание; это была настоящая прочная весельная лодка. Таких, как он, ребята обычно дразнят, но Юнна не трогали — дистанция не позволяла. Он не был одним из нас и совершенно к этому не стремился. Его отец, датчанин с велосипедом, еще у себя в Дании, наверное, начавший мечтать о том, чтобы поселиться в лесу, видимо, очень огорчился, когда утвердили план нового строительства и рядом с его домом заработала строительная техника. Семьи съезжались со всех концов страны, и все они были с детьми. По другую сторону дороги жили Густавсены: он — пожарный, она — домохозяйка, они прибыли из Хоннингсвога, их детей звали Ролф и Лейф Туре. В доме напротив нас жили Престбакму, он — учитель средней школы, его жена — медсестра, оба из Тромса, детей звали Гру и Гейр. Над ними жили Канестрёмы; он работал на почте, она была домохозяйкой, приехали из Кристиансана, их детей звали Стейнар, Ингрид Анна, Даг Лотар и Унни.

С другой стороны жил Карлсен, моряк, его жена работала продавщицей в магазине, детей звали Кент Арне и Анна Лена. Над ними — Кристенсены, он — моряк, кем была она, я не знаю, детей звали Марианна и Эва. С другой стороны жили Якобсены, он работал в типографии, она — домохозяйка, оба были из Бергена, детей звали Гейр, Трунн и Венке. Над ними Линнланны, из Сёрланна, детей звали Гейр Хокон и Мортен. Дальше я уже не очень знал, кто где живет, а тем более как зовут родителей и кем они работают. А из детей там были Бенте, Туне Элисабет, Туне, Лив Берит, Стейнар, Коре, Руне, Ян Атле, Оддлэйг, Халвор. Большинство — мои сверстники, старший — на семь лет старше меня, младший — на четыре года моложе. Пятеро из них потом учились со мной в одном классе.